



Н.С. ЛЕСКОВ



Николай Лесков

Белый орел

(Фантастический рассказ)

Собаке снится хлеб, а рыба – рыбаку. Феокрит (Идиллия)

Глава первая

«Есть вещи на свете». С этого обыкновенно у нас принято начинать подобные рассказы, чтобы прикрыться Шекспиром от стрел остроумия, которому нет ничего неизвестного. Я, впрочем, все-таки думаю, что «есть вещи» очень странные и непонятные, которые иногда называют сверхъестественными, и потому я охотно слушаю такие рассказы. По этому же самому, два-три года тому назад, когда мы, умалываясь до детства, начали играть в духовидство, я охотно присоединился к одному из таких кружков, уставом которого требовалось, чтобы в наших собраниях по вечерам не произносить ни одного слова ни о властях, ни о началах мира земного, а говорить единственно о бесплотных духах – об их появлении и участии в судьбах людей живущих. Даже «консервировать и спасти Россию» не дозволялось, потому что и в этом случае многие, «начиная за здравие, все сводили за упокой».

На этом же основании строго преследовалось всякое упоминание всеу каких бы то ни было «больших имен», кроме единственного имени Божия, которое, как известно, наичаще употребляется для красоты слога. Бывали, конечно, нарушения, но и то с большою осторожностью. Разве какие-нибудь два нетерпеливейшие из политиков отобьются к окну или к камину и что-то пошепчут, но и то один другого предостерегает: «pas si haut!»[1] А хозяин их уже назирает и шутя грозит им штрафом.

Каждый должен был по очереди рассказывать что-нибудь фантастическое

из своей жизни, а как умение рассказывать дается не всякому, то к рассказам с художественной стороны не придирались. Не требовали также и доказательств. Если рассказчик говорил, что рассказываемое им событие действительно происходило с ним, ему верили или по крайней мере притворялись, будто верят. Такой был этикет.

Меня это больше всего занимало со стороны субъективности. В том, что «есть вещи, которые не снились мудрецам», я не сомневаюсь, но как такие вещи кому представляются – это меня чрезвычайно занимало. И в самом деле, субъективность тут достойна большого внимания. Как, бывало, ни старается рассказчик, чтобы стать в высшую сферу бесплотного мира, а всё непременно заметишь, как замогильный гость приходит на землю, окрашиваясь, точно световой луч, проходящий через цветное стекло. И тут уже не разберешь, что ложь, что истина, а между тем следить за этим интересно, и я хочу рассказать такой случай.

Глава вторая

«Дежурным мучеником», то есть очередным рассказчиком, было довольно высокопоставленное и притом очень оригинальное лицо, Галактион Ильич, которого в шутку звали «худородный вельможа». В кличке этой скрывался каламбур: он действительно был немножко вельможа и притом был страшно худ, а вдобавок имел очень незнатное происхождение. Отец Галактиона Ильича был крепостным буфетчиком в именитом доме, потом откупщиком и, наконец, благотворителем и храмоздателем, за что получил в сей брэнной жизни орден, а в будущей место в царстве небесном. Сына он обучал в университете и вывел в люди, но «вечная память», которую пели ему над могилой в Невской лавре, сохранилась и тяготела над его наследником. Сын «человека» достиг известных степеней и допускался в общество, но шутка все-таки волокла за ним титул «худородного».

Об уме и способностях Галактиона Ильича едва ли у кого-нибудь были ясные представления. Что он мог сделать и чего не мог, – этого тоже наверно никто не знал. Кондуит его был короток и прост: он в начале службы, по заботам отца, попал к графу Виктору Никитичу Панину, который любил старика за какие-то известные ему достоинства и, приняв сына под свое крыло, довольно скоро выдвинул его за тот предел, с которого начинаются «ходы».

Во всяком случае надо думать, что он имел какие-нибудь достоинства, за которые Виктор Никитич мог его повышать. Но в свете, в обществе Галактион Ильич успеха не имел и вообще не был избалован насчет житейских радостей. Он имел самое плохое, хлипкое, здоровье и фатальную наружность. Такой же долгий, как его усопший патрон, граф Виктор Никитич, – он не имел, однако, внешнего величия графа. Напротив, Галактион Ильич внушал ужас, смешанный с некоторым отвращением. Он в одно и то же время был типический деревенский лакей и типический живой мертвец. Длинный, худой его остов был едва обтянут сероватой кожей, непомерно высокий лоб был сух и желт, а на висках отливала бледная трупная зелень, нос широкий и короткий, как у черепа; бровей ни признака, всегда полуоткрытый рот с сверкающими длинными зубами, а глаза темные, мутные, совершенно бесцветные и в совершенно черных глубоких яминах.

Встретить его – значило испугаться.

Особенностью наружности Галактиона Ильича было то, что в молодости он был гораздо страшнее, а к старости становился лучше, так что его можно было переносить без ужаса.

Характера он был мягкого и имел доброе, чувствительное и даже, как сейчас увидим, – сентиментальное сердце. Он любил мечтать и, как большинство дурнорожих людей, глубоко таил свои мечтания. В душе он был поэт больше, чем чиновник, и очень жадно любил жизнь, которую никогда во все удовольствие не пользовался.

Несчастье свое он нес на себе и знал, что оно вечно и неотступно с ним до гроба. В самом его возвышении по службе для него была глубокая чаша горечи: он подозревал, что граф Виктор Никитич держал его при себе докладчиком больше всего в тех соображениях, что он производил на людей подавляющее впечатление. Галактион Ильич видел, что когда люди, ожидающие у графа приема, должны были изложить ему цель своего прихода, – у них мерк взор и подгибались колена... Этим Галактион Ильич много содействовал тому, что после него личная беседа с самим графом каждому была уже легка и отрадна.

С годами Галактион Ильич из чиновника докладывающего стал сам лицом, которому докладывают, и ему дано было очень серьезное и щекотливое поручение в отдаленной местности, где с ним и случилось сверхъестественное событие, о котором ниже следует его собственный рассказ.

– Не с большим двадцать пять лет тому назад, – начал худородный сановник, – до Петербурга стали доходить слухи о многих злоупотреблениях власти губернатора П-ва. Злоупотребления эти были обширны и касались почти всех частей управления. Писали, будто губернатор собственноручно бил и сек людей; забирал вместе с предводителем для своих заводов всю местную поставку вина; брал произвольные ссуды из приказа; требовал к себе для пересмотра всю почтовую корреспонденцию – подходящее отправлял, а неподходящее рвал и метал в огонь, а потом мстил тем, кто писал; томил людей в неволе. А при этом он был, однако, артист; содержал большой, очень хороший оркестр, любил классическую музыку и сам превосходно играл на виолончели.

Долго о его бесчинствах доносились только слухи, но потом взялся там один маленький чиновник, который притащился сюда в Петербург, очень обстоятельно и в подробности описал всю эпопею и подал ее сам в надлежащие руки.

История выходила такая, что хоть сейчас сенаторскую ревизию назначать. По-настоящему оно так бы и следовало, но и губернатор и предводитель были на лучшем счете у покойного государя, а потому взяться за них было не совсем просто. Виктор Никитич хотел прежде обо всем удостовериться поточнее через своего человека, и выбор его пал на меня.

Призывает он меня и говорит:

«Так и так, доходят вот такие и такие печальные вести, и, к сожалению, кажется, в них как будто есть статочность; но прежде, чем дать делу какое-нибудь движение, я желаю в этом поближе удостовериться и решил употребить на это вас».

Я кланяюсь и говорю:

«Если могу, буду очень счастлив».

«Я уверен, – отвечает граф, – что вы можете, и я на вас полагаюсь. У вас есть такой талант, что вам вздоров говорить не станут, а всю правду выложат».

– Талант этот, – пояснил, тихо улыбнувшись, рассказчик, – это моя печальная фигура, наводящая уныние на фронт: но кому что дано, тот с тем и мыкайся.

«Бумаги все для вас уже готовы, – продолжал граф, – и деньги тоже. Но вы едете

только по одному нашему ведомству... Понимаете,

только !»

«Понимаю», – говорю.

«Ни до каких злоупотреблений по другим ведомствам вам как будто дела нет. Но это только так должно казаться, что

нет, а на самом деле вы должны узнать

все. С вами поедут два способных к делу чиновника. Приезжайте, засядьте за дело и вникайте будто всего внимательнее в канцелярский порядок и формы судопроизводства, а сами смотрите во всё... Призывайте местных чиновников для объяснений и... смотрите

построже. А назад не торопитесь. Я вам дам знать, когда вернуться. Какая у вас последняя

награда?»

Я отвечаю:

«Владимир второй степени с короной».

Граф снял своей огромной рукою его известный тяжелый бронзовый пресс-папье «убитую птичку», достал из-под него столовую памятную тетрадь, а правою рукою всеми пятью пальцами взял толстый исполин-карандаш черного дерева и, нимало от меня не скрывая, написал мою фамилию и против нее

«белый орел» .

Таким образом я знал даже награду, которая ожидала меня за исполнение возложенного на меня поручения, и с тем совершенно спокойный уехал на другой же день из Петербурга.

Со мною был мой слуга Егор и два чиновника из сената – оба люди ловкие и светские.

Глава четвертая

Доехали мы, разумеется, благополучно; прибыв в город, наняли квартиру и расположились все: я, мои два чиновника и слуга.

Помещение было такое удобное, что я вполне мог отказаться от удобнейшего, которое мне предупредительно предлагал губернатор.

Я, разумеется, не хотел быть ему обязан ни малейшей услугой, хотя мы с ним, конечно, не только разменялись визитами, но даже я раз или два был у него на его гайденовских квартетах. Но, впрочем, я до музыки не большой охотник и не знаток, да и вообще, понятно, старался не сближаться более, чем мне нужно, а нужно мне было видеть не его галантность, а его темные деяния.

Впрочем, губернатор был человек умный и ловкий и своим вниманием мне не докучал. Он как будто оставил меня в покое возиться с входящими и исходящими регистрами и протоколами, но тем не менее я все-таки чувствовал, что вокруг меня что-то копошится, что люди выщупывают, с какой бы стороны меня уловить и потом, вероятно, запутать.

К стыду рода человеческого должен упомянуть, что не считаю в этом совсем безучастными даже и прекрасный пол. Ко мне стали являться дамы то с жалобами, то с просьбами, но при всем этом всегда еще с такими планами, которым я мог только подивиться.

Однако я вспомнил совет Виктора Никитича, – «посмотрел построже», и грациозные видения сникли с моего, неподходящего для них, горизонта. Но мои чиновники имели в этом роде успехи. Я это знал и не препятствовал им ни волочиться, ни выдавать себя за очень больших людей, за каких их охотно принимали. Мне было даже полезно, что они там кое-где вращаются и преуспевают в сердцах. Я требовал только, чтобы не случилось никакого скандала и чтобы мне было известно, на какие пункты их общительности сильнее налагает провинциальная политика.

Они были ребята добросовестные и всё мне открывали. От них всё хотели узнать мою слабость и что я особенно люблю.

Им бы поистине этого никогда не добратья, потому что, благодаря Бога, особенных

слабостей у меня нет, да и самые вкусы мои, с коих пор себя помню, всегда были весьма простые. Ем я всю жизнь стол простой, пью обыкновенно одну рюмку простого хересу, даже и в лакомствах, до которых смолоду был охотник, – всяким тонким желе и ананасам предпочитаю астраханский арбуз, курскую грушу или, по детской привычке, медовый папошник. Не завидовал я никогда ничьему богатству, ни знаменитости, ни красоте, ни счастью, а если чему завидовал, то, можно сказать, разве одному

здоровью. Но и то слово зависть не идет к определению моего чувства. Вид цветущего здоровьем человека не возбуждал во мне досадливой мысли: зачем он таков, а я не таков. Напротив, я глядел на него только радуясь, какое море счастья и благ для него доступно, и тут, бывало, разве иногда помечтаю на разные лады о невозможном для меня счастья пользоваться здоровьем, которого мне не дано.

Приятность, которую доставлял мне вид здорового человека, развила во мне такую же странность в эстетическом моем вкусе: я не гонялся ни за Тальони, ни за Бозио и вообще был равнодушен как к опере, так и к балету, где все такое искусственное, а больше любил послушать цыган на Крестовском. Их этот огонь и пыл, эта их страстная сила движений мне лучше всего нравились. Иной даже не красив, корявый какой-нибудь, а пойдет – точно сам сатана его дергает, ногами пляшет, руками машет, головой вертит, талией крутит – весь и колотит, и молотит. А тут в себе знаешь только одни немощи, и поневоле заглядишься и замечтаешься. Что с этим можно вкусить на пиру жизни?

Вот я и сказал моему чиновнику:

«Если вас, друг мой, будут еще расспрашивать: что мне более всего нравится, скажите, что здоровье, что я больше всего люблю людей бодрых, счастливых и веселых».

– Кажется, тут нет большой неосторожности? – приостановись, спросил рассказчик.

Слушатели подумали, и несколько голосов отвечали:

– Конечно, нет.

– Ну и прекрасно, и я тоже думал, что нет, а теперь вы извольте дальше слушать.

Глава пятая

Ко мне из палаты присылали в мое распоряжение на дежурство чиновника. Так, он докладывал мне о приходящих, отмечал кое-что, и, в случае надобности, сообщал адреса, за кем надо было послать или о чем-нибудь сходить справиться. Чиновник дан был под стать мне – пожилой, сухой и печальный. Впечатление производил нехорошее, но я мало обращал на него внимания, а звали его, как я помню, Орнатский. Фамилия прекрасная, точно герой из старинного романа. Но вдруг в один день говорят: Орнатский занемог, и вместо его экзекутор прислал другого чиновника.

– Какой такой? – спрашиваю, – может быть, я лучше бы подождал, пока Орнатский выздоровеет.

– Нет-с, – отвечает экзекутор, – Орнатский теперь не скоро, – он запил-с, и запой у него продолжится, пока Ивана Петровича мать его выпользует, а о новом чиновнике не извольте беспокоиться: вам вместо Орнатского самого Ивана Петровича назначили.

Я на него смотрю и немножечко не понимаю: про какого это он мне про

самого Ивана Петровича говорит, и в двух строках два раза его проименовал.

– Что это, – говорю, – за Иван Петрович?

– Иван Петрович!.. это который у регистратуры сидит – помощник. Я думал, что вы его изволили заметить: самый красивый, его все замечают.

– Нет, – говорю, – я не заметил, а как его зовут?

– Иван Петрович.

– А фамилия?

– Фамилия...

Экзекутор сконфузился, взялся тремя пальцами за лоб и силился припомнить, но вместо того, почтительно улыбаясь, добавил:

– Простите, ваше превосходительство, вдруг как столбняк нашел и не могу вспомнить. Фамилия его Аквиляльбов, но мы все его называем просто Иван Петрович или иногда в шутку «Белый орел» за его красоту. Человек прекрасный, на счету у начальства, жалованья по должности помощника получает четырнадцать рублей пятнадцать копеек, живет с матушкой, которая некоторым гадает и пользует. Позвольте представить: Иван Петрович дожидается.

– Да, уж если так нужно, то попросите, пожалуйста, сюда этого Ивана Петровича.

«Белый орел! – думаю себе, – что это за странность. Мне орден следует белый орел, а не Иван Петрович».

А экзекутор приотворил дверь и крикнул:

– Иван Петрович, пожалуйста.

Я не могу вам его описывать без того, чтобы не впасть в некоторый шарж и не делать сравнений, которые вы можете счесть за преувеличения, но я вам ручаюсь, что как бы я ни старался расписать вам Ивана Петровича – живопись моя не может передать и половины красот оригинала.

Передо мною стоял настоящий «Белый орел», форменный *Aquila alba*,^[2] как его изображают на полных парадных приемах у Зевса. Высокий, крупный, но чрезвычайно пропорциональный мужчина, и такого здорового вида, будто он никогда не горел и не болел, и не знал ни скуки, ни усталости. От него пышило здоровьем, но не грубо, а как-то гармонично и привлекательно. Цвет лица у Ивана Петровича был весь нежно-розовый с широким румянцем, щеки обрамлены светло-русый пушком, который, однако, уже переходил в зрелую растительность. Лет ему было как раз двадцать пять; волосы светлые, слегка волнистые, blonde, и такая же бородка с нежной подпалиной, и синие глаза под темными бровями и в темных ресницах. Словом, сказочный богатырь Чурило Аппленкович не мог быть лучше. Но прибавьте к этому смелый, очень осмысленный и весело-открытый взгляд, и вы имеете перед собою настоящего красавца. Одет он в вицмундир, который сидел отлично, и темно-гранатного цвета шарф с пышным бантом.

Тогда носили шарфы.

Я и залюбовался Иваном Петровичем и, зная, что произвожу на людей, первый раз меня видящих, впечатление не легкое, сказал запросто:

– Здравствуйте, Иван Петрович!

– Здравия желаю, ваше превосходительство, – отвечал он очень задушевным голосом, который тоже показался мне чрезвычайно симпатичным.

Говоря ответную фразу в солдатской редакции, он, однако, мастерски умел дать своему тону оттенок простой и вполне позволительной шутливости, и в то же время один этот ответ устанавливал для всей беседы характер своего рода семейной простоты.

Мне становилось понятным, почему этого человека «все любят».

Не видя никакой причины мешать Ивану Петровичу держать его тон, я сказал ему, что я рад с ним познакомиться.

– И я с своей стороны тоже считаю это для себя за честь и за удовольствие, – отвечал он, стоя, но выступив шаг вперед своего эскутера.

Мы раскланялись, – эскутер ушел на службу, а Иван Петрович остался у меня в приемной.

Через час я попросил его к себе и спросил:

– У вас хороший почерк?

– У меня характер письма твердый, – отвечал он и сейчас же добавил: – Вам угодно, чтобы я что-нибудь написал?

– Да, потрудитесь.

Он сел за мой рабочий стол и через минуту подал мне лист, посередине которого четкою скорописью «твердого характера» было написано: «Жизнь на радость нам дана. – Иван Петров Аквиляльбов».

Я прочел и неудержимо рассмеялся: лучше того, что он написал, не могло к нему идти никакое выражение. «Жизнь на радость»;

вся жизнь для него сплошная радость!

Совсем в моем вкусе человек!..

Я дал ему переписать на моем же столе малозначительную бумагу, и он сделал это очень скоро и без малейшей ошибки.

Потом мы расстались. Иван Петрович ушел, а я остался один дома и предался своей болезненной хандре, и признаюсь – черт знает почему, несколько раз переносился мыслию

к нему, то есть к Ивану Петровичу. Ведь вот он, небось, не охает и не хандрит. Ему жизнь на радость дана. И где это он проживает ее с такой радостью на свои четырнадцать рублей... Поди, пожалуй, в карты счастливо играет, или тоже взяточки перепедают... А может быть, купчихи... Недаром у него этот такой свежий гранатный галстух...

Сижу за раскрытыми передо мною во множестве делами и протоколами, а думаю о таких бесцельных, вовсе до меня не относящихся пустяках, а в это самое время человек докладывает, что приехал губернатор.

Прошу.

Глава шестая

Губернатор говорит:

– У меня послезавтра квинтет, – надеюсь, будет недурно сыграно, и дамы будут, а вы, я слышал, захандрили у нас в глуши, и приехал вас навестить и просить на чашку чаю – может быть, не лишнее будет немножко развлечься.

– Покорно вас благодарю, но отчего вам кажется, что я хандрю?

– По Ивана Петровича замечанию.

– Ах, Иван Петрович! Это который у меня дежурит? И вы его знаете?

– Как же, как же. Это наш студент, артист, хорист, но только не аферист.

– Не аферист?

– Нет, он так счастлив, как Поликрат, ему не надо быть аферистом. Он всеобщий любимец в городе – и непременно член по части всяких веселостей.

– Он музыкант?

– Мастер на все руки: спеть, сыграть, протанцевать, веселые фанты устроить – все Иван Петрович. Где пир, там и Иван Петрович: затевается аллегри или спектакль с благотворительною целью – опять Иван Петрович. Он и выигрыши распределит, и вещицы всех красивее расставит; сам декорации нарисует, а потом сейчас из маляра в актера на любую роль готов. Как он играет королей, дядюшек, пылких любовников – это загляденье, но особенно хорошо он старух представляет.

– Будто и старух!

– Да удивительно! вот я к послезавтрашнему вечеру, признаться, и готовлю с помощью Ивана Петровича маленький сюрприз. Будут живые картины. – Иван Петрович их поставит. Разумеется, будут и такие, что ставятся для дам, желающих себя показать, но три будут иметь кое-что и для настоящего художника.

– Это сделает Иван Петрович?

– Да, Иван Петрович. Картины представляют «Саула у волшебницы андорской». Сюжет, как известно, библейский, а расположение фигур несколько дутое, что называется «академическое», но тут все дело в Иване Петровиче. На одного его все и будут смотреть – особенно когда при втором открытии картины обнаружится наш сюрприз. Вам я могу сказать этот секрет. Картина открывается, и вы увидите Саула: это царь, царь с головы до ног! Он будет одет, как все. Ни малейшего отличия, потому что по сюжету Саул приходил к волшебнице переодетым, так чтобы она его не узнала, но его

нельзя не узнать. Он царь, и притом настоящий библейский царь-пастух. Но занавес упадет, фигура быстро изменяет свое положение: Саул лежит ниц перед явившейся тенью Самуила.

– Саула теперь все равно что нет, но зато какого видите Самуила в саване!.. Это вдохновеннейший пророк, на раменах которого почиет сила в лице, величие и мудрость.

Этот мог «

повелеть царю явиться и в Вефиле и в Галгалах».

– И это будет опять Иван Петрович?

– Иван Петрович! но ведь это не конец. Если попросят повторения, – в чем я уверен и сам о том позабочусь, – то мы вас не станем томить задами, а вы увидите продолжение эпопеи.

Новая сцена из жизни Саула будет совсем без Саула. Тень исчезла, царь и сопровождавшие его вышли; в двери можно заметить только кусок плаща на спине последней удаляющейся фигуры, а на сцене одна волшебница...

– И это опять Иван Петрович!

– Разумеется! Но ведь вы перед собою увидите не то, как изображают ведьм в «Макбете»... Никакого столбнякового ужаса, ни ломки, ни кривляний, но вы увидите лицо, которое знает то, что не снилось мудрецам. Вы увидите, как страшно говорить с выходцем из могилы.

– Воображаю, – отвечал я, будучи всемерно далек от мысли, что не пройдет трех дней, как мне придется не воображать, а на самом себе испытывать такую пытку.

Но это пришло после, а теперь все было полно одним Иваном Петровичем – этим веселым, живым человеком, который вдруг, как боровочек после грибного дождика, из муравы выскочил, не велик еще, а отовсюду его видно, – все на него поглядывают и улыбаются: «Вот-де какой крепенький да хорошенький».

Глава седьмая

Я вам передавал, что говорил о нем его экзекутор и губернатор, а когда я любопытствовал, не слыхал ли чего-нибудь о нем один из моих чиновников светского направления, так они оба враз заговорили, что встречали его и что он в самом деле очень мил и хорошо поет с гитарой и с фортепиано. И им он тоже нравился. На другой день заходит протопоп. Он, как я побывал у него в церкви, всякий праздник приносил мне просфору и на всех священнобедничал. Он ни о ком хорошо не говорил и в этом отношении не делал исключения и для Ивана Петровича, но зато священнобедник знал не только природу всякой вещи, но и ее происхождение. Про Ивана Петровича он сам начал:

– Вам чинца обменяли. Это все с умыслю...

– Да, – говорю, – какого-то Ивана Петровича дали.

– Вйдом нам, как же, довольно вйдом. Мой свояк, на которого место я сюда переведен с обязательством воспитать сирот, он его и крестил... Отец-то тоже был из колокольных дворян... в приказные вышел, а мать... Кира Ипполитовна... Такое у нее имечко, – она по страстной любви к его родителю уходом за него ушла... Скоро, однако, вкусила и горечи любовного зелья, а потом и овдовела.

– Она сама сына воспитывала?

– Да какое его воспитание: в гимназии классов пять проучился, да и пошел в писатели в уголовную палату... со временем помощником сделали... А счастлив очень: в прошлом году коня с седлом в лотерею выиграл и с губернатором на охоту нынче за зайцами ездил... Фортепиан, полковые выходили, так разыгрывали, – опять тоже ему достался. Я пять билетов взял и не выиграл, а он всего один, да и на тот получил. Сам музычит и Татьяну учит.

– Это кто же – Татьяна?

– Сиротку они взяли – ничего себе... черномазенькая. Он ее обучает.

Весь день проговорили об Иване Петровиче, а вечером слышу, у моего Егора в комнатке что-то жужжит. Зову его и спрашиваю, что это у тебя такое?

– Это, – отвечает, – я пропилеи делаю.

– Что еще за пропилеи?

Иван Петрович, обратив внимание, что Егор скучает от бездействия, принес ему пилок и дощечек от сигарных ящиков с наклеенными узорами и научил его подставочки выпиливать. – Заказ дал к лотерее.

Глава восьмая

Утром в тот день, когда Иван Петрович вечером должен был и играть и всех удивлять в картинах на пиру у губернатора, я не хотел его задерживать, но он оставался при мне до обеда и даже очень насмешил меня. Я пошутил, что ему надо бы жениться, а он отвечал, что предпочитает остаться «в девушках». В Петербург его звал.

– Нет, – говорит, – ваше превосходительство, меня здесь все любят, да и мать, и сиротка Таня у нас есть, я их люблю, а они для Петербурга не годятся.

Удивительно какой гармоничный молодой человек! Я его даже обнял за эту любовь к матери и сиротке, и мы расстались за три часа до картин.

На прощанье я сказал:

– Нетерпеливо жду вас видеть в разных видах.

– Надоем, – отвечал Иван Петрович.

Он ушел, а я пообедал один и прикорнул в кресле, чтобы быть бодрее, но Иван Петрович не дал мне заснуть: он меня скоро и немножко странно потревожил. Вдруг вошел очень спешной походкой, шумно оттолкнул ногою стоявшие посередине комнаты стулья и говорит:

– Вот можете меня видеть; но только покорно вас благодарю – вы меня сглазили. Я вам за это отомщу.

Я проснулся, позвонил человека и велел подавать одеваться, и сам себе подивился: как ясно привиделся мне во сне Иван Петрович!

Приезжаю к губернатору – все освещено, и гостей уже много, но сам губернатор, встречая меня, шепчет:

– Расстроилась самая лучшая часть программы: картины не могут состояться.

– А что случилось?

– Тссс... я не хочу говорить громко, чтобы не портить общего впечатления. Иван Петрович умер.

– Как!.. Иван Петрович!.. умер?!

– Да, да, да, – умер.

– Помилуйте, – он три часа тому назад был у меня, здоров-здоровешенек.

– Ну и вот, придя от вас, прилег на диван да и умер... И вы знаете... я должен вам сказать на тот случай, чтобы его мать... она в таком безумии, что может прибежать к вам... Она, несчастная, убеждена, что вы и есть виновник смерти сына.

– Каким образом? Отравили его у меня, что ли?

– Этого она не говорит.

– Что же она говорит?

– Что вы Ивана Петровича

сглазили!

– Позвольте... – говорю, – что за пустяки!

– Да, да, да, – отвечает губернатор, – все это, разумеется, глупости, но ведь здесь провинция – здесь глупостям охотнее верят, чем умностям. Разумеется, не стоит обращать внимания.

В это время губернаторша предложила мне карту.

Я сел, но что я только выносил за эту мучительную игру – и сказать вам не могу. Во-первых, мучит сознание, что этот милый молодой человек, которым я так любовался, лежит теперь на столе, а во-вторых, мне беспрестанно кажется, что все о нем шепчут и на меня указывают: «сглазил», даже слышу это глупое слово «сглазил, сглазил», а в-третьих, позвольте вам за истину сказать – я вижу везде самого Ивана Петровича!.. Так глаз, что ли, наметался – куда ни взгляну – все Иван Петрович... То он ходит, прогуливается по пустой зале, в которую открыты двери; то стоят двое разговаривают – и он возле них, слушает. Потом вдруг около самого меня является и в карты смотрит... Тут я, разумеется, и понесу с рук что попало, а мой vis-a-vis обижается. Наконец даже другие стали это замечать, и губернатор шепнул мне на ухо:

– Это вам Иван Петрович портит: он вам мстит за себя.

– Да, – говорю, – я действительно расстроен, и мне очень нездоровится. Я прошу позволения расписать игру и меня уволить.

Это одолжение мне сделали, и я сейчас же поехал домой. Но я еду на санях, и Иван Петрович со мною – то рядом сидит, то на облучке с кучером явится, а лицом ко мне.

Думаю: не горячка ли у меня начинается?

Приехал домой – еще хуже. Чуть лег в постель и погасил огонь, – Иван Петрович сидит на краю кровати и даже говорит:

– Вы, – говорит, – меня ведь в самом деле сглазили, я и умер, а мне никакой надобности не было так рано умирать. В том-то и дело!.. Меня все так любили, и тоже матушка, и Танюша – она еще недоучена. Какое им от этого ужасное горе!

Я позвал человека и, как это ни было неловко, велел ему лечь у себя на ковре, но Иван Петрович не боится; куда ни оборочусь – он торчит передо мною, да и баста.

Насилу я утра дождался и первым делом послал одного из своих чиновников к матери покойного, чтобы отвез и как можно деликатнее передал ей триста рублей на похороны.

Тот возвращается и привозит деньги назад: говорит – не приняли.

– Что же, – спрашиваю, – сказали?

– Сказали, что «не надо: его
добрые люди похоронят».

Я, значит, был на счету
злых .

А Иван-то Петрович, как только я про него вспомню, сейчас тут и есть.

В сумерки не мог оставаться спокойно: взял извозчика и сам поехал, чтобы взглянуть на Ивана Петровича и поклониться. Это ведь в обычае, и я думал, что никого не обеспокою. А в карман взял все, что мог, – семьсот рублей, чтобы упрямых принятых для Тани.

Глава девятая

Видел Ивана Петровича: лежит «Белый орел» как подстреленный.

Таня тут же ходит. Такая, действительно, черномазенькая, лет пятнадцати, в коленкоровом трауре и все покойника оправляет. По голове его поправит и поцелует.

Какое терзание это видеть!

Попросил ее: нельзя ли мне поговорить с матерью Ивана Петровича.

Девушка отвечала: «хорошо» и пошла в другую комнату, а через минуту отворяет дверь и приглашает взойти, но только что я вошел в комнату, где сидела старушка, та сейчас встала и извиняется:

– Нет, простите меня, – я напрасно на себя понадеялась, я не могу вас видеть, – и с этим ушла.

Я был не обижен и не сконфужен, а просто подавлен, и обратился к Тане:

– Ну, хоть вы, молодое существо, может быть, вы можете быть ко мне добрее. Ведь я же, поверьте, не желал и не имел причины желать Ивану Петровичу какого-нибудь несчастья, а тем меньше смерти.

– Верю, – уронила она. – Ему никто не мог желать ничего дурного – его все любили.

– Поверьте, что в два-три дня, которые я его видел, и я полюбил его.

– Да, да, – сказала она. – О, эти ужасные «два-три дня» – зачем они были? Но тетя это в горе так обошлась с вами; а мне вас жалко.

И она протянула мне обе ручки.

Я взял их и сказал:

– Благодарю вас, милое дитя, за эти чувства; они делают честь и вашему сердцу и благоразумию. Нельзя же, в самом деле, верить такому вздору, будто я его сглазил!

– Знаю, – отвечала она.

– Так явите же мне ласку... сделайте мне одолжение

во имя его!

– Какое одолжение?

– Возьмите вот этот конверт... тут немножко денег... это на домашние надобности... для тети.

– Она не примет.

– Ну, для вас... для вашего образования, о котором заботился Иван Петрович. Я глубоко уверен, что он бы это оправдал.

– Нет; благодарю вас, я не возьму. Он никогда ни у кого ничего не брал даром. Он был очень, очень благородный.

– Но вы меня этим огорчаете... вы, значит, на меня сердитесь.

– Нет, не сержусь. Я вам дам доказательство.

Она раскрыла лежавший на столе французский учебник Олендорфа, торопливо достала лежавшую там между страниц фотографическую карточку Ивана Петровича и, подавая ее мне, сказала:

– Вот это он положил. До сих пор мы вчера доучились. Возьмите это от меня на память.

Тем свидание и кончилось. На другой день Ивана Петровича хоронили, а потом я еще дней восемь оставался в городе, и все в той же мучительности. Ночью нет сна; прислушиваюсь к каждому шороху; открываю форточки в окнах, чтобы хоть с улицы долетал какой-нибудь свежий человеческий голос. Но мало пользы: идут два человека, разговаривают, – прислушиваюсь, – про Ивана Петровича и про меня.

– Вот здесь, – говорят, – живет этот черт, что Ивана Петровича сглазил.

Поет кто-то, возвращаясь в тишине ночи домой: слышу, как у него снег под ногами хрустит, разбираю слова: «Ах, бывал я удал», – жду, когда певец поравняется с моим окном, – гляжу – это сам Иван Петрович. А тут еще и отец протоиерей жалуется и шепчет:

– Сглаз и приурок есть, да ведь это цыплят глзят, а Ивана Петровича отравили...

Мучительно!

– Для чего и кто мог его отравить?

– Опасались, чтобы он вам всего не рассказал... Его бы непременно надо было распотрошить. Жаль, что не распотрошили. Яд бы нашли.

Господи! избавь меня хотя от этой подозрительности!

Наконец вдруг совершенно неожиданно получаю конфиденциальное письмо от директора канцелярии, что граф предписывает мне ограничиться тем, что я успел сделать, и нимало не медля вернуться в Петербург.

Я был очень этому рад, в два дня собрался и уехал.

Дорогою Иван Петрович не отставал – нет, нет, да и покажется, но теперь, от перемены ли места или оттого, что человек ко всему привыкает, я осмелел и даже привык к нему. Мотается

он у меня в глазах, а я уже ничего; даже иногда в дремоте как будто друг с другом шутим. Он грозитя:

– Пробрал я тебя!

А я отвечаю:

– А ты все-таки по-французски не выучился!

А он отвечает:

– На что мне учиться: я теперь отлично самоучкой жарю.

Глава десятая

В Петербурге я почувствовал, что мною не то что недовольны, а хуже, как-то сожалительно, как-то странно на меня смотрят.

Сам Виктор Никитич видел меня всего одну минуту и не сказал ни слова, но директору, который был женат на моей родственнице, он говорил, что ему кажется, будто я нездоров ...

Разъяснений не было. Через неделю подошло Рождество, а потом Новый год. Разумеется, праздничная сутолока – ожидание наград. Меня это не сильно озабочивало, тем более что я знал мою награду – «Белый орел». Родственница моя, что за директором, еще накануне мне и орден с лентой в подарок прислала, и я положил в бюро и орден, и конверт с ста рублями для курьеров, которые принесут приказ.

Но ночью вдруг толк меня в бок Иван Петрович и под самый под нос мне

шиш . При жизни он был гораздо деликатнее, и это совсем не отвечало его гармонической натуре, а теперь, как сорванец, ткнул шиш и говорит:

– С тебя пока вот этого довольно. Мне надо к бедной Тане, – и сник.

Встаю утром. – Курьеров с приказом нет. Спешу к зятю узнать: что это значит?

– Ума, – говорит, – не приложу. Было, стояло, и вдруг точно в печати выпало. Граф вычеркнул и сказал, что это он лично доложит... Тебе, знаешь, вредит какая-то история... Какой-то чиновник, выйдя от тебя, как-то подозрительно умер... Что это такое было?

– Оставь, – говорю, – сделай милость.

– Нет, в самом деле... граф даже не раз спрашивал: как ты в своем здоровье... Оттуда разные лица писали, и в том числе общий духовник, протопоп... Как ты мог позволить вмешать себя в такое странное дело!

Я слушаю, а сам, – как Иван Петрович из-за могилы стал делать, – чувствую одно желание ему язык или шиш показать.

А Иван Петрович, по награждении меня шишом вместо «Белого орла», исчез и не показывался ровно три года, когда сделал мне заключительный и притом всех более осязательный визит.

Глава одиннадцатая

Было опять Рождество и Новый год и также ожидалась награда. Меня уже давно обходили, и я об этом не заботился. Не дают, и не надо. Встречали Новый год у сестры, – очень весело, – гостей много. Здоровые люди ужинали, а я перед ужином посматриваю, как бы улизнуть, и подвигаюсь к двери, но вдруг слышу в общем говоре такие слова:

– Теперь мои скитальчества кончены: мама со мною. Танюша устроена за хорошего человека; последнюю шутку сделаю и же ман вз! – И потом вдруг протяжно запел:

Прощай, моя родная,

Прощай, моя земля.

«Эге, – думаю, – опять показался, да еще и французить начал... Ну, я лучше кого-нибудь подожду, один по лестнице не пойду».

А он мимо меня изволил проходить, все в том же виц-мундире с пышным гранатного цвета галстуком, и только минул, вдруг парадная дверь так хлопнула, что весь дом затрясся.

Хозяин и люди бросились посмотреть, не добрался ли кто до гостиных шуб, но все было на месте, и дверь на ключе... Я молчал, чтобы опять не сказали «галюцинат» и не стали осведомляться о здоровье. Хлопнуло, и шабаш, – мало ли что может хлопать...

Я досидел случая, чтобы не одному идти, и благополучно возвращаюсь домой. Человек у меня был уже не тот, который со мною ездил и которому Иван Петрович пропиленные уроки давал, а другой; встречает он меня немножко заспан и светит. Проходим мимо конторки, и я вижу, что-то лежит белой бумагой прикрыто... Смотрю, мой орден Белого орла, который тогда, помните, сестра подарила... Он всегда заперт был. Как он мог взяться! Конечно, скажут: «сам, верно, в забывчивости вынул». Так не стану об этом спорить, но а вот это что такое: на столике у моего изголовья небольшой конвертик на мое имя, и рука как будто знакомая... Та самая рука, которою было написано «жизнь на радость нам дана».

– Кто принес? – спрашиваю.

А человек прямо показывает мне на фотографию Ивана Петровича, которую я берегу, память от Танюши, и говорит:

– Вот этот господин.

– Ты, верно, ошибся.

– Никак нет, – говорит, – я его с первого взгляда узнал.

В конверте оказался на почтовой бумажке экземпляр приказа: мне дали «Белого орла». И что еще лучше, всю остальную ночь я спал, хотя слышал, как что-то где-то пело самые глупые слова: «До свиданс, до свиданс, – же але о контраданс».

По преподанной мне Иван Петровичем опытности в жизни духов, я понимал, что это Иван Петрович «по-французски жарит самоучкою», отлетая, и что он больше меня уже никогда не

побеспокоит. Так и вышло: он мне отмстил и помиловал. Это понятно. А вот почему у них в мире духов все так спутано и смешано, что жизнь человеческая, которая всего дороже стоит, отомщевается пустым пуганьем да орденом, а прилет из высших сфер сопровождается глупейшим пением «до свиданс, же але о контраданс», этого я не понимаю. Впервые опубликовано – газета «Новое время», 1880.

Примечания

1

Не так громко! (
франц.).

2

Белый орел (
лат.).